

**Московские возвышенности мне всегда были приятнее, кажется,  
соответствующих духу мысли моей равнин. Саму Москву же из-за памяти  
о грубости отца я не сильно любил и даже боялся**

Холодно: очень холодно... Очень немного я видел людей старше десяти лет: людей, что пережили возраст этот и остались хоть с одним, хоть с единственным из обыкновенно отваливающихся ото несносимых, наставленных безобразностию бесцветной, управляемой чернотой насопевшихся, коченеющих иговостями укореившихся опространённостями золотеющихся наследностями оенственностей сченившегося направленностию взгляда Духа оследований расстаний седин глаз морды морозов ещё во первые годы жизни пальцем ноги.

Я родился на возвышении: нашим возвышением мы называем кряж, где рождаются наши люди. В низах же, заздрах, живут главные люди... сильные люди: те, кто имеют пальцы и доживают до отрочества. Не умирают же до этого возраста дети на возвышении только ото помощи восьмилетних: тогда ребята, родившиеся здесь и прожившие уже довольно, окончательно посвящают себя защите новорождённых и детей. Есть также и те, кто отказались от спасения после смерти друга. Такие дети очень рано обретают страшный мертвенный взгляд: будто и время застыло для них, и будто ничто уже не сможет изъесть их более, чем изъело знание о смерти человека, что был им близок: от неотвратимой, совершенно ясной неразнотённостию смерти: когда... когда приходят им во снах друзья их, и они такими же образами ещё пытаются выделить из пепла съедобное, хотя все знают, что съедобного там нет, и снова, сидя рядом друг с другом, они смеются, хотя кишку их рвёт твёрдый колючий понос из стекла, накрошившегося у кряжа и поднявшегося с заздра, и ото этой весёлости они преходят к трупику: к холодному посеревавшему детскому трупику: трупику этому уже не холодно, да за то он расплавивается своей тленностию, и опухают щёки его, и даже стянувшиеся ежовиком веки его не открывают за газами жиров огрызаемые кислотой воздуха глаза.

Спуститься с кряжа тяжело: очень тяжело... общем, невозможно. Я никогда даже и не слышал о действительных примерах спустившихся детей: есть только легенды: одни рассказы, довольно... далёкие от реальности рассказы...

Снега здесь нет: нет же и света. Всё черно и пусто, и укрываемся мы только пеплом и серой.

Сейчас мне семь: совсем скоро решится, отчаюсь ли я, и... и то будто не идёт от меня: будто я и должен ещё пытаться, да на деле же: на деле же, кажется, я совсем никогда не пытался спуститься.

Я вышел с пепла. Все спали: точнее, изображали сон: всем было холодно и голодно, и потому никто не мог спать. Я вышел: я шёл по чёрной густой пыли: расходящиеся по головам посыпаниями лёгкие, одно причиняющиеся ко наличной, спестревеющей особливостями наставшихся кродениями читающихся близностями чего-то, что ещё не ясно мне и что настанет сильно позже во терпимостях наполяющегося скоростями недействительностей во близаниях явлений хриstopодобного-де сна, зленений овлас своих коже пеплы преливались радугою, и ровдуга та не была обычна: она осияла чуть, и перламутровые, и глориановые звёздочки во песчинках оставностей тел тоих... я спустился всего на пару метров: я прошёл совсем немного, о ести прошёл гораздо менее, чем проходил ранее, однако: однако из земли вырвалось: встряхнулись пеплы, и утопи все дети и бывшие и будущие детьми во нём, и во кряже всё пало: пали все, окромя меня. В земной дрожи этой восстала из пепла фигура: фигура была глянцевитой, чуть розовой и насмехательски нестрашной: оканчивающимся правильною скруглённостью цилиндром создание это стояло: после создание явило глаза свои: совершенно человеческие, еле опридавшиеся правдоподобностями самоих возможностей явления правды во мире этом осквози розоватые тонкие плена чутне попадающихся остаточностями оказившихся свечённостями подле тяжести дыма песков этих следений сосудов.

Я сам пременял язык его: я сам решил не слушать его, и было таково. Слова его не доходили для меня, ибо были ложными. На месте-горе же я последний раз овстречал это создание.

Люди, выросшие на кряже, всегда хотят сбежать вниз: находясь на верхах своих, они мечтают вочеловечиться, и мечты эти никогда не сбываются. Я же решил это сделать. Я спустился с горы в заздр. Явление моё не было беспокойным, однако внутри меня держалась злость: точнее, я не уверен, можно ли то назвать злостью и имею ли я способность становить злость эту.

Встретивши первого человека: человека, что был мне новым, я пал в заточение.

Заточение это было и есть мучительным, да первое время мне позволялось есть со всеми. Все же были теми, кто назывался сильными людьми, да люди эти были довольно особенны: особеннее нас, людей с кряжа: часть людей этих иногда срасталась удивительно странными, ослояющимися чёрными, приставляющимися во почти случайных положенностях тоих ото шумов, приходящихся к тому, хотя шумы те и были будто почти для всех неслышны, головками красными, чуть сальфериновыми во основаниях своих

гридеперлиевых, нарождающихся свечённостью дентиновых осилений морщин хрящами и отянувшимися подо еле опрозрачившимися отчётливостями опряганий ко тому толстых пухлых жил кожами костями, коими люди эти умели двигать: особенно искусные из них выраживали себе необычные органы, которые могли употреблять во свою власть: например, отдельные из них управляли плотностью вещей и умами или могли влиять на время. Люди, произвольно обретшие способности эти, хотели избавиться от них, и в этом я им помогал: я не изымал это из них и не пытался отсечь такие органы, да одно давал им признание органа этого органом, и во том бывшая плотью плоть обреталась Духом, и во том люди эти становились совершенно обыкновенны: главные заздры оправдывали заточение опасностью, ко представляют люди со органами, и по помощи моей они должны были по юридическим основаниям освободить их, что они и сделали. Через неделю законы сменили под те, что будут удобны главным заздра, а меня же заточили глубже и теперь окончательно во совершенном одиночестве.

Серые, постлевшиеся пленами озований тех тяжёлых, опроникающих ко омне во нечленанноистии являний вограниченностей приходящегося ко опроклятиям земным ото средечновооостей напевшихся зудами напоревшейся несбыточностями повелённых шёпотами терпений правд ожидаанности ояний праха пустот бетоны держали меня, и много я думал, как сойти отсюда, дабы помочь людям. Рытьё бетона было оспрещено: дорыл я почти до поверхности во день один, да то посчитали чудом, назвав то чудом: чудом я пользоваться не хотел, и потому более не рыл. Согбение колонн заточения также было названо тем, и во том я умолчал. Я пытался протиснуть себя сквозь перины, да тогда бы я умер, а умирания моего самостоятельного главные заздра не хотели, да то словно и не было возможным; так, мне угрожали убийством ото человека с заздра.

Очень долго я провёл в заточении: кажется, сотню лет, да тело, ум и разум мои не сменялись: я стал молод и ото молодости не старею, однако выйти не мог. Главные заздра приспособляли под себя срок моего заточения, и оттого я мог быть заточён навечно.

Однажды у меня возник план: нельзя сказать, что план этот не удумывался мною ранее, да содеять я его решил одно теперь.

Днём, когда за мной следят особенно усердно, я начал биться об колонны, и даже оторвался теперь, расплющившись тяжестию начтавшихся делённостями жирных мяс моих стен, и вонзились рёбра мои во лёгкие со горлом, и тогда окрикнул меня человек заздра, и сказал он мне, что убьёт меня. Направившись обратно, ко перинам, я встретил человека во положении, когда копьё его становилось ко мне в сторону и было уже почти выстрелено остриями своими.

Я, смывающий гулко гудящую лимфу со оделённостями спластавшейся ко овсем стенам этим вонючестью кусков опышно свёрнутой руды крови, сплюхивал случайностию стояния режущие щёки и животы мои смрадными гноями вываливающихся медленно оцеловывающимися сальными гусеницами кишок осколки черепа черепа, улыбнулся человеку, и человек выстрелил копьём в меня.

Так, расстались крови и плоти мои во тухлом жаре совершенно небольшой, остроившей нутрянной чёрный дождь салами моими и мышечными, особенно долго отлипляющимися ото поникшего жирным прахом потолка волокнами комнаты. Человек сокрушён был видом и деянием своим, и потому не заметил, что за решёткой, близ него, стоял тот же я: совершенно нагой, я поцеловал охудившиеся прощением лица его и пошёл кверху.

Человек был лишён рук, ног, глаз и носа: его горячие, омягчившиеся соломленими кож ото медленных тяжёлых, пробивающих внови и внови нежные, упрочиняющиеся щиплющим раны солоноватыми жирными, появляющимися тут же и оставляющими человека скусывать их или тереть о спредающие оявляющиеся снова-де небольшие вонючие пузырьки камни гнойниками потом ткани срастаний кости, и места, где прежде были глаза, чернели приходящимися ко ониксовым каменениям ужасами, и вид его был страшен, и оттого никто не хотел видеть его: в озеленевших невидимостию человеку, лоснеющихся блаженными телу человеческому, неслышными человеку опаханиями, расходящихся пленою прохладных, сочледеющихся причинаниями ко охождениям том во пестроте медленно шумящей выбриванностями нарочитоостий пробивающих горлы и пузы его жирными, ядовитыми трупным смрадом крюками страданий пыли ударений лесах ходил он, и сорвалась нога его в лозе, и лоза та была бритвой: зычною глухотою шлёпнулась голень его ко камням, резавши хрустящим гамом стеснувшуюся окриками произвольными кожу и раздробив упавшую сразу после того ко твёрдости проткнувшейся о месте том штыком земли кость; человек загнил, однако не умирал, и в пене тех воспалений обновилось тело его, и обрёл он нос, глаза, ноги и руки.